

ББК Ш5(2=Р)7-4Волков О.+Т3(2Рос.Калм)622-38
УДК 82.09:94(470.47).084.8:343.264

**ОБРАЗ «ПОСЛЕДНЕЙ» ССЫЛЬНОЙ КАЛМЫЧКИ
В ПОВЕСТИ О. ВОЛКОВА «ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ»**

Р. М. Ханинова

В художественном исследовании «Архипелаг ГУЛАГ» (1958–1967), размышляя об уроках отечественной истории, Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) писал о том, что средняя человеческая память не удержала до прошлого столетия массовой насильственной ссылки народов: «Нужно было наступить надежде цивилизованного человечества — XX веку, и нужно было на основе Единственно Верного Учения высочайше развиться Национальному вопросу, чтобы высший в этом вопросе специалист взял патент на поголовное искоренение народов путем их высылки в сорок восемь, в двадцать четыре и даже в полтора часа» [Солженицын 1989: III, 385]. Назвав термин «спецпереселенец» советским, кровным, писатель прокомментировал специфику неологизма: «Разве не с этой приставочки *спец* начинаются наши излюбленные сокровеннейшие слова (спецотдел, спецзадание, спецсвязь, спецпаек, спецсанаторий)? В год Великого Перелома обозначили “спецпереселенцами” раскулаченных... <...> И вот указал Великий Отец применять это слово к ссылаемым нациям» (курсив автора. — *Р. Х.*) [Солженицын 1989: III, 386].

В июле 1941 г. метод был испытан на примере Автономной республики немцев Поволжья [Солженицын 2004: III, 387–388]. «Система была опробована, отлажена и отныне будет с неумолимостью цапать всякую указанную назначенную обреченную предательскую нацию, и каждый раз все проворнее: чеченов, ингушей, карачаевцев; балкар; калмыков; курдов; крымских татар, наконец, кавказских греков» [Солженицын 2004: III, 388]. Из этого мартиролога в главе «Ссылка народов» калмыцкому народу посвящено несколько сочувственных строк. Говоря о местах ссылок, А. И. Солженицын назвал «Сибирь (множество калмыков вы-

мерло на Енисее)» [Солженицын 2004: III, 390]. Уже тогда, когда замалчивали проблему сталинского геноцида в отношении народов страны, автор выразил надежду на будущее воплощение запретной темы: «Сколько сослано было наций, столько и эпосов напишут когда-нибудь — о разлуке с родной землей и о сибирском уничтожении» [Солженицын 2004: III, 390]. Эта надежда сбылась.

В калмыцкой литературе о депортации, как и в русской литературе о сталинских репрессиях, первыми описали эти события очевидцы, вначале упрощенно, схематично, чтобы быть доступными отечественному читателю в той степени, в какой позволяла цензура в стране, затем, когда стало возможно, со всей откровенностью и исповедальностью, генерируя историческую память народа. Одним из первых исследований по этой теме стала монография Н. Ц. Манджиева, осветившая некоторые аспекты концепции ссыльного человека в калмыцкой прозе XX в. [Манджиев 2005]. В нашей монографии «Давид Кугультинов и Михаил Хонин: диалог поэтов» одна из глав посвящена поэзии и судьбам двух авторов, отбывавших сибирскую ссылку в разные сроки [Ханинова 2008а: 87–118], создавших образ Сталина и отобразивших советскую модель тоталитаризма. Главное заключается в том, что оба писателя — летописцы своей эпохи — стали полпредами своего народа, защитниками его попранных прав и свобод, их гражданская и патриотическая позиция явила личное мужество, а произведения — диалектическое понимание законов истории и народов [Ханинова 2008а: 116].

А. Солженицын одним из первых в русской литературе XX в. художественно исследовал механизм репрессивного государственного аппарата, который выработал дифференцированный подход к спецпере-

селенцам. Рассказывая о прибалтийских ссыльных в Сибири, он сообщал, что выживали они за счет посылок из Прибалтики — ведь не весь народ сослал, и задавал риторический вопрос: «А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымским татарам?..

Пройдите по могилам, спросите» [Солженицын 2004: III, 398].

Основанный на автобиографическом опыте и на 227 мемуарных свидетельствах, «Архипелаг ГУЛАГ» представлял широкую панораму существования спецпереселенцев: «Впереслойку расселенные, друг другу хорошо видимые, выявляли нации свои черты, образ жизни, вкусы, склонности <...> Однако в общем подчинились режиму и не доставляли больших забот комендантской власти», — резюмировал писатель [Солженицын 2004: III, 399]. Среди тех, кто поддавался психологии покорности, он назвал и наших сородичей: «Калмыки — не стояли, вымирили тоскливо» [Солженицын 2004: III, 401]. Справедливости ради тут же уточнил: «(Впрочем, я их не наблюдал.)» [Солженицын 2004: III, 401].

Другим свидетелем вымирания калмыцкого народа стал Олег Васильевич Волков (1900–1996), проведенный в тюрьмах, лагерях и ссылках почти 28 лет; как известно, его воспоминания использовал Солженицын в своей книге. Часть из них в подборке «Горстка праха» была впервые опубликована в журнале «Юность» [Волков: 1989, 30–44]. Есть там и маленький рассказ «Последняя Калмычка» [Волков: 1989, 42–43]. Затем в повести «Погружение во тьму» с подзаголовком «Из пережитого», создававшейся в 1970-е гг., в девятой главе «По дороге декабристов», московский писатель вновь поведал о судьбе безымянной калмычки, которую встречал в 1951 г. во время проживания в красноярском селе Ярцево. Это один из первых портретов калмычек в произведениях «возвращенной» русской литературы о трагической депортации народов.

Напрашивается сравнение эпизодов повести О. Волкова с рассказом Виталия Закруткина «Подсолнух» (1957), в котором тема сибирской ссылки, связанная с образом чабана и обусловленная возвращением калмыцкого народа на родину, явлена латентно. Это упоминание о нескольких годах проживания Бадмы в Сибири, его рассказы о прошлых сновидениях, где снилась степь, как родная мать, где таежная и степная вода

сравниваются в пользу привычно соленой, где выражено предпочтение жаркого климата своей земли, несмотря на зной и суховеи, восхищение степной красотой [Ханинова, Хермикова 2012: 274, 275, 276].

Свой же рассказ О. Волков начал с печальной констатации факта, что Север встречал подневольный люд сурово и неприветливо: «Многие *не выстаивали*» (курсив далее наш. — Р. Х.). Заметим переключку этого глагола «не выстаивали» с глаголом Солженицына, примененным к калмыкам: «*не стояли*».

Волков привел пример с партией якутов — человек триста — в Соловецком лагере в конце 1920-х гг., в которой вымерли все: «...на приезжих влияла вся тяжесть условий и обстоятельств — начиная с непривычного климата и пищи до пережитого душевного потрясения. <...> Странно и жутко было видеть этих выросших у полюса холода людей, одетых с ног до головы в меха, чахнувших и пропадающих среди снежной зимы почти на той же параллели, что и Якутск, на острове, освещенном теми же сполохами, что их стылая лиственничная тайга!» [Волков 1990: 118].

«На Енисее та же участь постигла калмыков», — трагически констатирует автор [Волков 1990: 118]. Он не знал, какова была численность этого народа, но знал, что «из приастраханских степей вывезли всех калмыков — от мала до велика. Их целыми семьями грузили в вагоны и отправляли на восток. Массовая эта операция была произведена, если не ошибаюсь, в 44-м году, под гром победных салютов» [Волков 1990: 118]. Некоторые неточности мемуариста понятны в связи с отсутствием доступа к необходимым материалам. Калмыков сослал не только из приастраханских степей, и эта операция, начатая 28 декабря 1943 г., длилась до тех пор, пока малочисленный народ не рассеяли от Казахстана до Камчатки.

В послесловии к повести О. Волкова М. Кораллов особо отметил многозначность национальной проблематики. «На страницах “Погружения во тьму” встречаешь армянина-художника, латыша, чеченцев, грузина, калмычку, потерявшую всех, кто сослан был с нею на берега Енисея, петербургского немца Фельдмана в роли сурового эскулапа, умевшего, однако, вызволять из беды собратьев “по статье”...»

Воскрешая в мемуарах свой лагерный интернационал, зэк, устоявший в испыта-

ниях, был, наверное, вправе хоть изредка позволять себе пусть снисходительное, но поучение, а то и ярость по отношению к сдавшимся и потому поверженным, к покорным и потому опустившимся. Однако в повествовании нет злости, нет презрения, нет интонаций оскорбительного превосходства» [Кораллов 1990: 126].

В своих воспоминаниях Волков подчеркнул и «точечное» рассредоточение калмыцких спецпереселенцев, и чуждую для них работу (лесозаготовки): «Часть калмыков была отправлена на Енисей — их расселяли по реке вплоть до Туруханска и ниже, несколько сот человек попало в Ярцево. Трудоспособных угоняли на лесозаготовки, отдавали в колхозы, преимущественно на работы, связанные с конями. Калмыки умело с ними обращались, но во всем остальном оказались трагически неспособными примениться к новым условиям, пище, климату, укладу жизни...» [Волков 1990: 118]. И потому «все больше детей, а потом и взрослых калмыков стало попадать в больницы. Ни внимательные русские врачи, ни ласковые сестры в белых косынках, сами заброшенные на чужбину, а потому старавшиеся помочь от всего сердца, ничего не могли сделать... Калмыки лежали на больничных койках тихие, ужасно далекие со своим малоподвижным лицом и чужим языком, горели в сильном жару и помирали. Одного за другим их всех — малышей и подростков, девушек, женщин и мужчин в расцвете лет, стариков — попереносили на голые сибирские кладбища, позакапывали в землю, так и не признавшую их за своих детей.

Когда меня привезли в 1951 году в Ярцево, трагедия калмыков подходила к концу. В селе их оставалось наперечет. Вскоре узналось, что и по другим деревням перемерли все степняки» [Волков 1990: 118–119].

По определению Б. А. Бичеева, «годы депортации — время, когда в этническом сознании калмыков на отрезке в тринадцать лет происходили два разновекторных процесса — угнетения и активизации этнического сознания. Первый наблюдался в начальный, адаптационный период ссылки, второй характерен для последующего этапа пребывания в депортации». При этом, считает исследователь, «для калмыцкого этноса, оказавшегося разбросанным на огромном пространстве и в непривычных для него природно-климатических услови-

ях, в обстановке моральной подавленности, наиболее тяжелым был адаптационный период первых пяти-шести лет». Состояние этничности начального периода он определяет как «социальную смерть»: «Этнос оказался вне защитного действия существующего конституционного поля. Он лишился прав, свободы, официального статуса и достоинства» [Бичеев 2004: 171]. Для первоначального физического выживания в ситуации «культурного шока» (разрушение устойчивых жизненных стереотипов, когда они внезапно входят в противоречие с реальностью действительностью) к аспектам культурного шока, испытываемого этносом в состоянии вынужденного переселения, Б. А. Бичеев относит: напряжение, связанное с необходимостью психологической адаптации; чувство потери и лишения; чувство отверженности; сбой в ценностях, чувствах и самоидентификации; тревога, вызванная культурными различиями; чувство неполноценности [Бичеев 2004: 170]. Механизм внутреннего сопротивления срабатывал не у всех представителей этноса. В качестве примера ученый сослался на документальные свидетельства О. Волкова о трагической судьбе тех, кто не сумел психологически и физически адаптироваться к новым условиям [Бичеев 2004: 172].

Хотя современный философ и назвал второй период адаптации (1949–1956) ссыльных калмыков условно реанимационным [Бичеев 2004: 171], повесть Волкова убеждает, что тогда подчас и некого было возродить к жизни, если смысл ее был утрачен для спецпереселенца. «И настал день, когда в нашем Ярцево уцелела всего одна женщина — Последняя Калмычка» [Волков 1990: 119], одна из прежних нескольких сотен спецпереселенцев. Автор не назвал реальную женщину ее настоящим именем, потому что не знал его (если бы забыл, сообщил), а другие жители села, видимо, обращались к ней по-своему, кто как мог, но эти обращения в повествовании не приводятся.

Возможно, назвав свою героиню Последней Калмычкой, О. Волков косвенно сравнивал ее с «любезной калмычкой» А. С. Пушкина. Скрытое сопоставление «мерцает» в изображении калмычки, погибающей на чужбине. Здесь подчеркнуты такие ее черты, как неряшливость, недружелюбность, молчаливость, одиночество, маскулинность (курит, пьет). Автор совсем не

обращает внимания на ее внешность, вероятно, мало привлекательную с точки зрения «другого». Вместе с ней он караулил на берегу плоты: «Она меня словно не замечала, усаживалась где-нибудь на плоту и *понуросидела* с засунутыми в рукава телогрейки руками, потом задремывала, свесив голову, *обвязанную платком не по-нашему*. Так было под утро. С вечера она обыкновенно скороговоркой непрерывно бормотала что-то на своем языке. Наш она совсем не знала, выучила всего несколько слов. Калмычка иногда негромко и на одной заунывно-тоскливой ноте пела, *долго* и *тоскливо*, и это походило на *безответную жалобу*» [Волков 1990: 119]. Подробность в описании одежды (платок обвязан по-иному) сообщает ей значимый смысл: сохранение носителем самобытности. Судя по наречиям («долго и тоскливо», ср. у Солженицына — «вымирали тоскливо»), женщина пела калмыцкие протяжные песни («ут дун»), изливая в них свои переживания и мысли, не заботясь о том, что их мало кто понимает со стороны. Обращаясь к родной песне как выражению коллективного народного сознания, ссыльная калмычка выражала с ее помощью свой пассивный протест против насилия и несправедливой действительности, в которой ей не было места.

«Поначалу будто бы и не очень тревожилась, когда умирали ее соплеменники, редко навещала больных и тем более не ходила на кладбище. Ее привезли в Ярцево со стариками — родителями убитого на войне мужа» [Волков 1990: 119]. Волков верно подметил внешнюю сдержанность в проявлении чувств Последней Калмычки, характерную для ее народа: у калмыков на кладбище не принято ходить, а в старину придерживались захоронений иных видов.

Автор не уточнил, были ли дети у этой женщины — умерли ли по дороге в ссылку, не выдержав тягот, или она их не успела родить, когда мужа взяли на войну. Но характерно при этом ее неостребованное материнство. «Из замкнутой отчужденности — в деревне всегда все известно, а потому знали, что она безутешна после потери мужа, — вывела, однако, вдову не утрата родных, а болезнь чужого мальчугана, матери которого она стала помогать за ним ходить. Носила ему парное овечье молоко, доставала что могла из лавки. Мальчуган помер» [Волков 1990: 119]. Эта утрата — автор не определил национальность ребенка, но, ско-

рее всего, это был калмычонок — стала для Последней Калмычки невыносимой.

Ранее она видела, как уходили из жизни калмыцкие дети, участи которых Волков посвятил прочувствованные, полные поэзии строки: «*Бойкими смуглыми бесенятами* носились первоначально *отчаянные калмыцкие мальчуганы на неоседланных и необратанных мохнатых лошаденках*, пригоняя их с пастбища и водооя: со свистом, гортанными степными криками, так что только *завидовали и дивились местные подростки, сами убежденные, лихие конники*. А вовсе маленькие калмычата с живыми черными, как у куликов, глазами и плоскими лицами выжидательно смотрели на матерей — когда они пойдут доить кобылиц и принесут пенистого, с острым запахом молока... Однако — не дождалось... Кто скажет, отчего стали чахнуть и помирать в приенисейских селах калмыцкие дети? Или и впрямь нельзя было обойтись без привычного кумыса? Или не хватало им по весне свежих цветущих лощин в тюльпанах, жаркого душистого лета, напоенного пряными ароматами высушенных солнцем степных трав?» [Волков 1990: 119]. Антропологические зарисовки калмыцких детей, их внешности (смуглые, черные глаза, плоские лица) и поведения (бойкие, отчаянные, живые глаза, носились на лошаденках, свист, степные гортанные крики), передают сочувствие автора к собратьям по несчастью. В описании калмыцкой пищи и природы недаром манифестируется ольфакторный аспект: память о запахах (кумыс с острым запахом) и ароматах (цветущие тюльпаны, душистое лето, степные травы) присутствует на генном, родовом уровне.

В разрушении личности повинен не только сам человек, уточняет свидетель. «И тогда Последняя Калмычка *впервые прибегла к спирту по наущению сердобольных соседок*, давно зарившихся на доставшиеся ей от свекра и свекрови сундуки с шелковыми одеялами и пуховыми шальями» [Волков 1990: 119]. По замечанию исследователя, «видно, из трудовой семьи была женщина, коль в доме был достаток» [Манджиев 2005: 98]. Авторская деталь об оставшихся от родителей мужа сундуках показательна, если знать, что с собою в ссылку калмыки не могли по сути ничего забрать, кроме самого малого. Это свидетельствует о том, что труд и в неволе оставался не только средством к существованию, но и ментальной характе-

ристической работоспособности спецпереселенцев.

«Одинокая калмычка скоро сбилась с круга, забросила работу и с каким-то ожесточением стала прогуливать что только попадало ей под руку. И за короткое время спустила все свое добро» [Волков 1990: 119].

Необходимо отметить, что калмыцкие женщины с давних пор курили табак [Ханинова 2008б: 147–154]. «Моя напарница много курила, — писал мемуарист, — свертывала себе нескладные сигарки из газетной бумаги, просыпая при этом махорку, глубоко, не по-женски, затягиваясь. А когда кончался табак, подходила ко мне и хрипло выговаривала: “Курить дай”» [Волков 1990: 119]. Выпивать же калмычкам по обычаю запрещалось. Этот эпизод повести комментирует Н. Ц. Манджиев: «Калмычки никогда не употребляли спиртное, это было смертным грехом, однако после ссылки табу было снято. Исчезли многие моральные запреты, нарушились вековые народные устои» [Манджиев 2005: 98].

Для нас значимо авторское уточнение: «с каким-то ожесточением» расставалась героиня с вещами, словно хотела навсегда забыть прошлое, в котором осталось счастье: муж, семья, родня, сородичи. Для этноса характерны были сплоченность и взаимопомощь в период испытаний и невзгод, чувство крови; в ссылке, как свидетельствуют документы и материалы, калмычки старались держаться кланово, сохраняя несколько поколений под одной крышей. Будучи ранее кочевым народом, калмычки были неприветливы в быту, не привязаны к материальным благам, не привередливы к удобствам. Об этом свидетельствует обширная этнографическая литература. Многие исследователи считают, что «такие национально-психологические особенности калмыков, как выносливость, неприветливость, настойчивость, старательность, умение довольствоваться малым, обеспечивали успешность жизни калмыков в достаточно трудных природно-климатических условиях» [Крысько 1999].

В «ожесточенном» отказе калмычки от своих вещей мы бы отметили не свойственную ее народу открытость в проявлении негативных чувств при посторонних. Тем более, что «все ее знали, жалели, но помочь ей уже было нельзя. <...> И в рыбкоопе Последняя Калмычка продержалась недолго

— не могли держать сторожиху, постоянно пропускавшую дежурства и уходившую с них, когда вздумается» [Волков 1990: 119] — разумеется, не от лени. Кочевому народу несвойственно безделье, иначе он пропадет. Тут писатель отдал должное своей героине: «Прежде она никогда не пила и исправно ухаживала за овцами на скотном дворе» [Волков 1990: 119] — т. е. занималась привычным трудом. Но растущее безразличие к себе распространилось и на внешний образ жизни: «У нее уже ничего не осталось, она обносилась, бедствовала. Хозяйки неохотно пускали ее к себе жить...» [Волков 1990: 119]. Неохотно, но пускали. Эта женщина сама отделилась от других, чужих, никого не впуская в свой внутренний мир.

«Мне однажды пришлось видеть, как вырвалось у Последней Калмычки наружу сильное чувство, страстная тоска, на миг поборовшая всегдашнюю угрюмую замкнутость. Это было на восходе, когда должно было вот-вот показаться из-за лесов правобережья солнце. Перезябшая за ночь калмычка забралась на бугор повыше, в полгоры, караулила первые лучи. И когда они наконец хлынули, ласковые и яркие, она внезапно оживилась, стала подставлять им, не жмурясь, лицо, запрокидывая голову, словно устремлялась навстречу их жару и свету.

Я стоял внизу, на песке, в тени» [Волков 1990: 119].

Эпитеты «сильное чувство», «страстная тоска», «всегдашнюю угрюмую замкнутость» передают эмоциональные переживания человека, живущего вне сородичей в ссылке, не находящего теперь опоры в семье, в роду. Чувство укоренности в родной природе, утраченное на чужбине, прорывается у калмычки в желании согреться на солнце, пусть и не таком жарком, как в степях. Поэтому она не жмурится, подставляя лицо ласковым, в отличие от враждебных ей людей, солнечным лучам. Ей хочется сейчас поделиться своей радостью с другим, стоящим в тени. Этот контраст специально подчеркнут автором, чтобы показать разницу менталитета и образа жизни у людей разных национальностей и краев. « — Иди, иди! — поманила меня к себе Последняя Калмычка и быстро-быстро залопотала на своем языке, с живостью показывала на солнце и куда-то вверх по Енисею.

Не понимая слов, я знал, что она рассказывает о своем юге, о своем жарком щедром солнце, прокалившем душистый простор ее

степей и давшем жизнь ее народу. Глаза калмычки *блестели, на смуглом бескровном лице скупо показалась краска.*

— Это плохо, плохо! — вдруг горько по-русски заключила она и сразу потускнела. Глаза ее угасли, и резко обозначились ранние морщины на облитом утренним солнцем лице» [Волков 1990: 119].

Анализируя эпизод с восходом солнца в повести, исследователь увидел в нем прекрасные задатки души героини, ее способность понимать красоту природы [Манджиев 2005: 98].

Неважно, действительно ли догадался писатель, о чем могла поведать ему ссыльная калмычка, главное — ему удалось передать ее ностальгию. Поэтому детализированы подробности эпизода: женщина что-то быстро-быстро говорит (торопится высказаться, обычно молчалива), с живостью (жаждет поделиться) показывает на солнце и реку, глаза ее блестят (воодушевлена), на бескровном от недоедания и переживаний лице проступает скупой румянец (от волнения). Оценку происходящему Последняя Калмычка «горько» дала на русском языке, чтобы быть понятной чужому человеку. Все остальное — заповедное — передала по-калмыцки, и не только потому, что плохо владела русским языком, нашла бы несколько понятных слов. Выраженное вербальными средствами родного языка как бы возвращало ей чувство рода, этноса, родины, приобщенности к миру предков. Ей не с кем поговорить на своем языке, а потребность высказаться гложет. Так и с родными песнями, которые не требуют слушателя, а позволяют излить душу.

Перемена в поведении женщины наступила внезапно: она сразу потускнела, глаза угасли, резко обозначились ранние морщины на лице. Впервые в повести возникает намек на возраст героини, который прежде угадывался по контексту: молодая женщина, рано потерявшая на войне мужа, не имеющая детей, сильно пьющая в одиночестве от горя и безысходности.

Рассказ о женщине писатель завершил открытым финалом: «Последняя Калмычка внезапно покинула Ярцево. Ходили слухи, будто ей разрешили переехать в Енисейск, где еще были живы несколько ее земляков. Ничего достоверного о ее дальнейшей судьбе так и не узналось» [Волков 1990: 119]. Верный фактам, автор ссылался на слухи, которые могли оказаться правдой: калмыки

только с официального разрешения властей могли покидать места своих поселений, и только по уважительной причине: возможно, в Енисейске нашлись ее родственники. Могли ли они спасти ее от пьянства? Наверное, смогли бы, если бы она нашла долгожданную опору в них. В любом случае, по нашему мнению, незавершенность судьбы героини повести О. Волкова «Погружение во тьму» симптоматична и символична. Этнос выжил в тринадцатилетней ссылке (1943–1956 гг.), вернулся на родину после исторической реабилитации и возродился.

«Автор книги, словно проявляя милосердие, сообщает читателю, что Последняя Калмычка внезапно покинула Ярцево», — полагает Н. Ц. Манджиев [Манджиев 2005: 98], заключая, что «под пером писателя судьба женщины приобретает символический смысл», оставляя читателю «небольшой луч надежды» [Манджиев 2005: 99].

Говоря о судьбе героини в предисловии к газетной публикации отрывка из повести О. Волкова под редакционным названием «Роковая зима», В. Церенов объединил единичную судьбу с общенародной и подытожил: «У каждого из нас свой запас духовной прочности. Говорят, время было такое — суровое. Но жестоким делают время люди» [Церенов 1990: 3].

«Погружение во тьму», если воспользоваться метафорой Волкова, для нашей отечественной истории завершилось — начался прерванный путь к свету. Поэтика прозвания героини словно вбирает в себя историческое название калмыков (по одной из версий, «калмык» значит на тюркском «отделившийся, отставший»), ойратских выходцев из Джунгарии, обретших новую родину в Российском государстве в начале XVII в. Таким образом, повесть О. Волкова о Последней Калмычке включается в русло пушкинской традиции отзывчивости русской литературы по отношению к «другу степей».

Литература

- Бичеев Б. А. Дети Неба — Синие Волки. Мифолого-религиозные основы этнического сознания калмыков. Элиста: КалмГУ, 2004. 200 с.
- Волков О. В. Погружение во тьму: Из пережитого // Роман-газета. 1990. № 6. С. 3–122.
- Волков О. Последняя Калмычка // Юность. 1989. № 3. С. 42–43.

- Волков О.* Роковая зима // Сов. Калмыкия. 1990. 22 марта. С. 3.
- Кораллов М.* К свету // Роман-газета. 1990. № 6. С. 123–128.
- Крысько В. Г.* Этнопсихологический словарь. М.: Москов. психолого-социал. ин-т, 1999. [Электронный ресурс]. URL: <http://vocabulary.ru/dictionary/1067/word/kalmyki>.
- Манджиев Н. Ц.* Калмыцкая проза о депортации (некоторые аспекты концепции человека). Элиста: Калм. кн. изд-во, 2005. 240 с.
- Солженицын А. И.* Ссылка народов // Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: Опыт художественного исследования: В 3 т. М.: Сов. Писатель: Нов. мир, 1989. Т. 3. С. 385–404.
- Ханинова Р. М.* Давид Кугультинов и Михаил Хонинов: диалог поэтов. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2008а. 185 с.
- Ханинова Р. М.* Портрет калмычки с трубкой в аспекте имагологии: лирика Михаила Хонинова // Вестник КИГИ РАН. 2008б. № 1. С. 147–154.
- Ханинова Р. М., Хермикова Ц. Ч.* Калмыцкий компонент в рассказе Виталия Закруткина «Подсолнух» // Историко-функциональное изучение литературы и публицистики: истоки, современность, перспективы: сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. Ставрополь: Изд-во Ставропол. гос. ун-та, 2012. С. 272–277.
- Церенов В.* В поисках себя // Сов. Калмыкия. 1990. 22 марта. С. 3.